

Николай Колмогоров
"Люблю тот дом, где былью скрипнет дверь..."

(1996-1997 г., г. Кемерово) // Огни Кузбасса. – 2002. – № 1. – С. 121-125.

В верховьях Малого Енисея, почти на границе с Монголией, наивная юность-молодость наша собиралась построить что-то вроде дома общины. Всю долгую зиму 1972-73 годов табунились мы, бескнижные ещё кемеровские поэты, один непризнанный, но, конечно же, гениальный художник, два философа-самоучки, на квартире у почти признанного художника и прекрасного актёра кемеровского драматического театра Георгия Евсеева, чтобы в бурных спорах обсудить строительство нашего двухэтажного бревенчатого ковчега, в коем и возле которого бы занялись мы каждый своим делом: кто руководить всей честной компанией, а кто – на подхвате быть, скотину домашнюю пасти, навоз из стоек выкидывать, дровишки заготавливать – да мало ли чего! Главный затейник наш, юркий и острый на слово Санёк-соболёк, объявивший себя главным администратором вот-вот готового воплотиться в реальность дела, распалая общее воображение, нагонял жару в разговор: «Ребята, ребята! Моху, моху надо побольше! Зимы там ой-ой-ей какие холодные!.. Коля, тебе задание: достать циркулярные пилы!.. Виталий, ты давай, учись, учись быстрее своему печному делу, а Вовка пусть на пасечника определяется. Лёня будет у нас главным охотником и рыбаком. Это вам, братцы, не брёвна по берегу катать, как на лесосплаве!..»

Строительство дома общины полным ходом продвигалось вперёд: квартира актёра к весне оказалась заваленной всяким необходимым инвентарём и инструментом, жена Георгия хваталась за голову, но терпела, а планы главных разработчиков делались всё грандиознее и масштабней!..

И вот, едва только дунуло апрельскими тёплыми ветрами и сошёл снег, сорвались мы, трое из будущих общинников-коммунаров, на разведку мест, которые давно уж видели в мечтах как наяву. Вовка уехал первым, но почему-то застрял в Минусинске, а мы с Виталием, перевалив на автобусе Тувагенства головокружительные серпантины заснеженных саянских перевалов, древним Усинским трактом въехали в географический центр Азии и даже, как сказали бы в старину, преклонили свои колени перед гордым гранитом знаменитого обелиска в средоточии красных и бурых кызыльских гор, бритвенно подрезанных снизу сапфировой лентой Енисея...

Верховья великой реки не разочаровали нас, но рассеял надежды посёлок, выбранный нашими мозговитыми застрельщиками в основном по энциклопедии, и куда мы добрались, рискуя соскользнуть на каком-нибудь горном повороте в пропасть... Природа Тувинской глубинки оказалась бедной, горы почти безлесыми, ленточный узкий борок, повторяющий течение вод, загаженный битыми бутылками, мятыми консервными банками и какой-то рваной брошенной обувью настолько, что вроде бы никуда из осточертевшего многолюдного города мы и не уезжали. По грязным,

размичканным мощною техникой улицам добрели мы до деревянной щелястой гостиницы, переночевали на латаных-перелатаных простынях, попили из кружки, намертво прикованной железной цепью к бачку, и наутро – приенисейской пустынною местностью, над которой медленно ходили степные орлы, на последние свои кровные доскреблись-таки через все перевалы до Минусинска!.. Встретившись с товарищем своим, работавшим на речном техучастке, мы долго хохотали и потешались над самими собой, клюнувшими на призрачную приманку...

Бездомные, безденежные, в совершенном неведении насчёт своего ближайшего будущего, сидели мы на берегу минусинской протоки, глядя на гряды полуторасотлетних чёрных осокорей, посаженных на другой стороне, говорят, ещё декабристами. Было ветрено, зябко, а перед глазами всё ещё плыли синие выступы Саянских гор, тувинская курганная гололобь с каменными идолами наверху и какие-то совсем уж гобийские тучи наволочью над ней...

Туда, к неведомым местам
Мы едем Усинской дорогою.
Здесь кедры горные, а там –
Нечеловеческое, Богово.
Мы будущее наживём...
Бросая прошлое степенство,
Качаемся, мой друг, вдвоём
В большой машине Тувагенства.
Глядим в окно, разинув рот.
Заоблачного серпантина
Уже девятый поворот
Машина с рёвом проглотила.
Там, где Тоора-хем, Эрзин,
За далью облегчённой, гулкою
Истаем мы, как сизый дым,
Над чёрною тувинской трубкою...

Стихи эти Виталий успел сложить где-то в нашей дороге, и сейчас Крёков бормотал нам их, не находя иного способа развеять наше уныние. Мне показалось корявым сочетание «Нечеловеческое, Богово» и, чтобы подзудить товарища, я предложил не без иронии заменить Богово на логово, на что Виталий кровно обиделся, заворчал что-то, но через минуту-другую переборол обиду, потому что держать долго зла не умел. Весело глянув на нас, он объявил: «На Волгу, к родственникам покачу! Куда-нибудь в бригаду на стройку. А там, глядишь, и женюсь, квартиру дадут, хозяйство заведу...»

«Ишь какой хозяйственный», – сказал Вовка, и мы стали отговаривать Виталия, утверждая, что втроём будем работать на брандвахте и рельеф дна енисейского промерять. Виталий нас уже не слушал, ибо мыслями витал уже там, на волжских просторах. В этом бодром настроении он и уехал на

следующий день на поезде «Абакан – Москва». В дороге его благополучно обокрали, подменив новые туфли развалюхами. Обо всём этом он с присутствующим ему жизнелюбием поведал нам в письме: «Хорошо, что хоть в одних носках не оставили!» Письмо это мы получили месяца через полтора. И, сочувствуя изложенному в нём событию, всё-таки улыбались: что тут поделывать, таков уж Виталий, вечно с ним штучки происходят!..

* * *

Я жил за той, за синею чертою,
Там, где свелись к нулю мои труды.
И юная рябина надо мною
Горела выше видимой звезды...

Снова свела меня судьба с моим товарищем уже на Горном Алтае, куда махнул я летом следующего года: не остыла думка о житье-бытье среди могучей природы, у чистых рек! Опять мы потянулись друг за другом в места неизведанные, туманные. куда русские люди ходили когда-то в поисках страны беловодья. В районном центре Турочак, недалеко от Телецкого озера, среди лесных гор, таёжных рек и налитых щедрым алтайским солнцем вековых сосновых боров обосновались мы, с трудом устроились с жильём и, пока жили примерно чуть больше года в том благодатном краю, так и мытарилась по разным углам, в основном у одиноких старушек. Виталий как человек, быстро увлекающийся новыми людьми, жадный до познания других интересных душ, то и дело приходил ко мне из другого конца трёхкилометрового посёлка, чтобы рассказать о бабке Манеихе, у которой квартировал, то о Сашке Прахте, ещё одном её постояльце, то о какой-то Городиловой, которая одна, без мужика, подняла на ноги пятерых разноотцовых детей и, слава Богу, бодрости духа и тела не потеряла, хотя жизнью была потрёпана и побита изрядно.

Но больше всего товарищ мой любил рассказывать о своём напарнике – старике Илманове, у которого хорошо поучился искусству класть печи. Дело в том, что Виталий ещё подростком был разнорабочим: каменщиком, жестянщиком, обмуровщиком. К азам же печного дела привадила его родная тётка, знавшая многие хитрые секреты этой редкой ныне профессии. На Горном Алтае он довершил это печное образование, закономерно перетёкшее в судьбу:

...Жить трезвее хочется, толковей,
Дни текут, как воды на весло.
В деревеньке, в стекляни ивовой
Тёплое налажу ремесло.
До снегов спроворю труд старинный...
Чтобы шов был тоньше волоска,

Как всегда, на полведёрка глины
Сыпану я полведра песка.
Выйду, закурю, стихи слагая.
В отсветах заката у ворот
Стройная, красивая, родная
В полушалке шёлковом пройдёт.

* * *

В семье рабочих людей родился Крёков, рабочим человеком и остался на всю жизнь, хотя как поэт имел бы полное право заниматься только поэзией, если бы было на что жить. Первую книжку издал глубоко за тридцать, хотя сколько его ровесники по разным городам и весям, особенно в столице, наплодили к тому возрасту немало бойкого чтива. Плодовитые эти стихотворцы, многие из которых даже не знают, что такое кельма или отвес, вымучивали свои опусы, в основном, по домам творчества и всяким там цедззам, а стихи Крёкову подбрасывала сама щедрая наша реальность, которую тогда только и осознаёшь, когда разогнёшься для короткого перекура... В этом смысле с напарником своим, чудаковатым и придиричивым стариком Илмановым, прошедшим фронт, огни, воды и медные трубы лихих времён, товарищ мой более чем преуспел: сложил в избах, конторах и бараках, что раскиданы вдоль прихотливо вьющейся Бии не одну экономную, тёплую и надёжную печку. Однако не странно ли, что главная его житейская профессия, которая худо-бедно, а кормила поэта, почти никак не отразилась в его творчестве, за исключением одного-двух стихотворений? Вопрос этот, конечно же, не новый для того, кто никак не поймёт, откуда берутся стихи и вообще всё прекрасное, доброе. Сам Крёков и прямо, и косвенно, но всегда с максимальным стремлением к истине не раз пробовал доказать, если уж не досужему обывателю, то, по крайней мере, себе самому, что:

Когда в унынье ум и сердце ропщет,
Просвета нет к отеческим мирам,
Привет тебе, спасительная роща!
Привет тебе, мой белоликий храм!
Когда душа обидами разбита
И всё горит на злобу и на месть,
Звучит в тебе моя любовь – молитва,
И просветляет дух благая весть.
Здесь облаков громады нависают.
Простор, где я любил сестру и мать.
И посылает в путь душа живая
От слова к слову милое искать.
Здесь речь, где умиление в каждом звуке,
Здесь родина моя, мой край родной.
И осеняют вечность ветви-руки

Улыбчивой весеннею листвою.

* * *

Неблагодарно писать о своих друзьях. Скажи о них плохо – обидятся, будут недовольны, скажи хорошо – довольны, может быть, и будут, но всё равно не очень. Видится мне одна из веских причин этого в завышении самих себя над горизонтом текущего времени. Любя похвалу, с великим трудом выдерживаем мы критику, даже и справедливую, но и завышая планку собственных достижений, иногда самообольщаемся. И всё-таки... и всё-таки пусть будет так, ибо вдумчивый читатель сумеет понять это самообольщение и быстро разберётся, где оно обоснованно, а где представляет из себя лишь мыльные пузыри. На явление горделивости в таланте он мудро улыбнётся, помня, что детское начало живёт в существе поэта всегда. Дремучая «зрелость» людей, которые даже в детстве стали духом своим едва ли не стариками, может вызвать только сочувствие. Но все, в ком поблескивает и мерцает хотя бы мало-мальское творческое проявление, для кого и простая былинка, колыхаемая ветром, не просто трава, но частица вечного бытия, знают себя детьми в глубине души своей! Завышая планку, он, прежде всего, пусть интуитивно, ставит себе целью идти в жизни верхним путём – путём духа:

Когда в удушьи суеты
Заплачешь от несовершенства,
Тогда с внезапной высоты
Прольётся на тебя блаженство.
Где ложь сладка, где горек мёд,
Где все дела неразличимы –
Как будто ясный день взойдёт
Над слабым огоньком лучины.

Всю свою сознательную жизнь Крёков явственно ощущал и ощущает себя в людях. Они для него как дневные окна, подойдя к которым, можно одновременно увидеть как содержание комнат, так и внешнее своё отражение в стекле. Стараясь заглянуть в людей, поэт имеет возможность увидеть и самого себя. Так мифический герой любил когда-то глядеть в зеркало вод на своё отражение, в котором в то же время змеились подводные стебли, проплывали рыбки, роились блескучие песчинки... Но отражение, пусть и прекрасное, есть только иллюзия, создаваемая игрой стихий и законов природы. Ведь рыбки поплывут дальше, золотящиеся песчинки будут роиться уже по-другому, и каждый миг снова будет полон смеющейся новизной!..

Нарциссизм, живущий в искусстве, вечно решает, что ему ближе: собственное отражение или всё бесчисленное разнообразие бликов и обликов мира, вечно роящееся как песок в текущих струях бытия.

Вот почему люди у Крёкова не просто какие-то отвлечённые символы этого бытия, но вполне конкретные люди, иногда даже с именами и фамилиями. Это Оля Власова из села Пача, это шофёр Иван, это свояченица Мария, зять Иван Данилыч и Григорьевна – жители глухой деревеньки, это, наконец, родные сестра и мать, образы которых то там, то здесь улыбаются или горюют, провожают в далёкий путь или ждут брата и сына «с вечерним чаем у окошка». У Крёкова вообще главенствует вполне материальный культ женщины, культ матери, переходящий, наконец, в образ Матери-родины:

Ты в чаше рук меня, как мать, качала.

И я – каких бы истин не постиг –

Не знаю, где конец твой, где начало,

Из чьей груди меня встревожил клик...

.....
Когда гроза пройдёт, утихнет ветер,

На склоне солнца станет даль слепить,

Скажу я: «Неужель на этом свете,

На щедром свете довелось мне жить!?»

* * *

Не знаю, сильно ли увлекался Крёков блоковскими и есенинскими стихами, но следы этого увлечения чувствуются. Александр Блок, видимо, глубоко повлиял на него, но с тою, однако, разницей, что блоковский пронзительно-высокий трагизм отражается в стихах далёкого по времени ученика лишь чистою одинокою грустью, да и то с какой-то оптимистичностью. Высоких драматических вершин, которые, собственно, и делают творчество великим, ученику покорить пока не удалось, хотя известное выражение «мы дети страшных лет России» применительно и к нашим нелёгким временам. Но и чистые токи есенинского влияния, которые нет-нет, да и пробегают по стихам Крёкова, дают мне как читателю объяснение, почему этого не произошло: крёковскую музу очень сильно влечёт к природе, к просторам полей с воздухом, полных грозовых облаков, к людям, жившим, либо ныне живущим на этой знакомой с детства земле:

С небес высоких, словно камень в воду,

На дно светлопечальных рощ родных

Спешу любовью заслужить работу

Отцов, дедов и прадедов моих.

И не последний здесь я, и не первый,

И сколько б глаз красот не ворошил –

Я вижу здесь разверзшиеся недра

Огромной человеческой души.

Интересно было бы проследить в творчестве русских поэтов, какие, например, деревья были их наиболее любимыми. Почему-то думаю, что духу Пушкина сопутствуют дуб и сосна среднерусской равнины, у Лермонтова в стихах также дуб и чета белеющих берёз, кроме ещё каких-то малосущественно упомянутых южных деревьев. В поэзии Тютчева, Фета звучит всё тот же лиственный шум нашей природы, но там, наряду с дубами и соснами, соседствуют уже ивы, у Блока – тополь. У Бунина, кроме лесных великанов, ещё виды кустарника и подлеска. Но, пожалуй, только Есенин гуще всех одел и украсил свои стихи живой непреходящей сутью русской лесной полосы. В его произведениях мы найдём едва ли не все образы родного древесного мира, добавив сюда ещё рябину и клён. Однако Есенин не был бы самим собой, если бы всё его творчество не пронизывал бы сверху донизу бессмертный свет российских берёз. Берёза – слава Руси, её суть, её вековая стать. Поэтому немудрено, что вслед за Есениным столько отечественных стихотворцев на все лады, кто как только может, воспели и воспевают берёзовую чистоту, которую никак не обойти стороной русскому человеку, как не обошёл её и мой товарищ:

Из берёзовых ран я не пил свежий сок,
Не сушил лебединые груди.
Я берёз красоту как святыню берёг,
Чтоб лечились берёзами люди.
Я поверью поверил ещё с детских пор,
Что душа её схожа с любовью:
Опущу на неё этот острый топор –
Ствол окрасится алою кровью.

* * *

О достоинствах и недостатках писателя можно говорить долго, ибо нет идеального образца творчества, которое было бы неоспоримо. Ещё со школы вбили нам в голову, что если классик, так едва ли не верх совершенства. Но это далеко не так. Можно сколько угодно дилетантствовать, но ведь среди творений великих поэтов есть слабые произведения. А что уж говорить о нас смертных?.. И чего греха таить, если надежды и устремления юности далеко не оправдались к зрелости. Ушло младенческое желание славы, пришло или приходит время осмысления пережитого. Явное, что совершилось, – так это сама жизнь. Главное, кому не изменили мы на дорогах и ухабах, – так это самим себе.

В стихах моего товарища можно поискать и найти немало изъянов с точки зрения совершенства. Есть тут и невнятица пополам с косноязычием, и корявость смысловых выражений, выявляющая отнюдь не некий оригинальный стиль автора, а лишь элементарную малограмотность. И хотя

вовсе не оправдание, что Виталию Крёкову в силу жизненных обстоятельств не удалось получить хорошего систематического образования – он проходил свои университеты в суровой российской реальности, где вроде бы вообще не до стихов, – нужно поверить собственной интуиции, что перед нами поэт в истинном смысле этого слова. Условия, в которые поставлены и мы, российские литераторы, немилосердны. Но беспредметным был бы разговор о них, если бы и нам не приходилось зарабатывать на хлеб, на одежду, на жильё, наконец, ибо чем же мы отличаемся от простого населения, которому также нелегко? Тем разве, что принимаем посильное участие в продолжении духовного поля, в развитии лучших культурных традиций народа? А нужно ли это ему? Оценит ли он эти неосязаемые руками, но ощутимые лишь сердцем и разумом труды?.. Ответ на этот вопрос мы вроде бы находим на встречах с теми, кому, собственно, и предназначаются наши поэтические искания. Особенно сейчас, когда книжные прилавки ломаются от разного рода боевиков, бестселлеров весьма сомнительного пошиба, а экраны телевизоров захлестнул девятый вал тотального мордобоя, пошлости и растреления, назойливо выдаваемых за настоящее искусство и литературу. Но, встречаясь со своим земляком, видим мы теплеющие глаза, смягчающие добротой и вниманием лица, слышим простые слова человеческой благодарности. Значит, не растоптаны до конца души людские, не поругана глубинная основа человечности в них. И разве это не может не волновать нас, укрепляя в правильности раз и навсегда избранного пути? Кто знает, может быть, именно такими чувствами продиктованы и такие строки нашего поэта:

И мы, на ощупь шедшие в тумане,
На прошлое глядя и на восход.
И горше нам, кого касалось пламя
Таинственных невидимых высот.

* * *

Большой современный русский поэт Николай Иванович Тряпкин, имя которого, к сожалению, не так хорошо известно, как громкие одиозные имена некоторых русскоязычных стихотворцев, подаваемых всюду и вся в виде первого блюда, слушал однажды революционную песню «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой...», слушал, слушал и возмущился честной своей душой этой фарисейской правдишке. А возмущившись, взял да и написал свой собственный вариант на эту же тему: «Нет, я не вышел из народа. / О, чернокостная порода! / Из твоего крутого рода / Я никуда не выходил...»

Такое определение, такая мысль вполне подошли бы и к творческому облику моего товарища. Поэт Виталий Крёков не понаслышке знает, что такое народ, умеющий и работать, и песни слагать. Виталий – чистейшей воды лирик, тонко чувствующий слово родное. Есть авторы, которых хорошо слушать в большом зале или даже на многолюдной, кипящей страстями

площади. Выйдет такой – и, броско отчеканивая каждую фразу, кинет зарифмованную злободневность в толпу, в «народ», о котором он так любит распространяться где только ни попадая, ожидая похвал и аплодисментов. И, будьте уверены, аплодисменты эти сорвёт, хотя по существу, может быть, вовсе не стоит их. Возьмёшь книжку такого «горлана-главаря», а читать в ней нечего, кроме разве что пустых мест между строк...

Но не таковы задачи поэта, который ищет не способа «быть притчей на устах у всех», не массовой истерии толпы, а чистой, как слеза детства, истины, воплощённой в красоте созвучий родного, впитанного с молоком матери языка. Само собой, что ему значительно труднее в поисках правды, нежели расчётливому искателю шумной славы. И тут надо сказать, что лишь чувство глубоко личной ответственности, сопряжённой даже с некоторой жертвенностью, помогает ему не отступить от своей высокой миссии, как помогает нам сердечное обращение к Высшему «Я» в нас самих:

Здесь, где северный ветер наводит
Облаков необъятную мощь
И просёлок, петляя, уходит
В занавески редящих роц,
Слёзы смоят безумство и важность.
Всемогуций! На лике земли
Ты прости и хоть в малую тварность
На исходе пути посели.
Незабудкою, веточкой вербы
Наши души проклюнутся вновь,
Вопрошая: «Мы разве не небо?
Разве мы на земле не любовь?..»

Таковы творческие и духовные усилия, художественные задачи природного поэта, до конца верящего, что на этой многотрудной земле только любовью – в самом широком смысле этого понятия! – можно спастись. А значит помочь и другим.